

Михаил Яснов

*“Парижские письма” Ефима Эткинда*

В 1908 году Максимилиан Волошин, рецензируя только что вышедшую книгу переводов Федора Сологуба из Верлена, вспомнил слова Теофиля Готье: “Всё умирает вместе с человеком, но больше всего умирает его голос... Ничто не может дать представления о нем тем, кто забыл его”. Волошин опровергает Готье: есть область искусства, пишет он, которая сохраняет “наиболее интимные, наиболее драгоценные оттенки голосов тех людей, которых уже нет. Это ритмическая речь — стих”.

Ефим Григорьевич Эткинд не писал стихов (за исключением разве что блестящих экспромтов, шуточных посланий, стихов на случай), но стихи были главным делом его жизни. Более полувека он изучал русские, французские, немецкие стихи (последние к тому же много и плодотворно переводил), исследовал их как текст поэзии и текст культуры, часто работая на узком пространстве между серьезной наукой и популяризацией, где как раз и важны собственный голос, собственная интонация. Многочисленные ученики, друзья, последователи Эткинда вспоминают именно это — его неповторимый голос, его поразительное умение читать стихи и держать паузу.

В его жизни таких пауз не было. Даже на сломе судьбы, в 1974 году, когда пятидесятишестилетний профессор Герценовского института, в одночасье лишенный всех званий и степеней, был вынужден эмигрировать на Запад, последовавшая затем многолетняя разлука с родиной и родной культурой обернулась феноменальной по энергии и завоеваниям деятельностью — научной, организаторской, публицистической. Полтора десятилетия имя Эткинда было запрещено в Советском Союзе, книги его были изъяты из библиотек и по большей части уничтожены. Незадолго до внезапной кончины Е. Г. Эткинд обратился с открытым письмом к тем, кто был повинен в этом варварстве, со справедливым требованием оплатить переиздание его уничтоженных книг, многие из которых долгие годы были уникальными учебными пособиями для филологов — и остались таковыми по сей день.

Ответа, конечно, не последовало, но, к счастью, Ефим Григорьевич был заряжен великим оптимизмом, который позволял ему во все трудные времена находить собственные пути для творчества — и его сохранения, — адекватные высоким и благородным целям. Во второй половине семидесятых имя его все чаще появляется в эмигрантской периодике, а в восьмидесятые годы начинает звучать его голос — в передачах Би-би-си, посвященных русской и европейской культурам.

Это был взгляд из Европы — на саму Европу, прежде всего на Францию, и на Россию. В круг зрения попадали злободневные события из общественной и культурной жизни, премьеры фильмов и выставки, выход новых книг и присуждение литературных премий, юбилеи и прощания с друзьями. Собственно, это был разговор, который Ефим Григорьевич вел изо дня в день в своей прежней жизни, — только там этот разговор был скорее камерным, как повелось в советском быту, — “на кухне”; теперь он стал достоянием широкой аудитории и не раз приобретал острое политическое звучание. И все же это был

разговор прежде всего литературный и о литературе — как те три эссе из написанных для русской службы Би-би-си, которые мы предлагаем сегодня вашему вниманию.

Почти все годы вынужденной эмиграции Эткинд неоднократно возвращался к мучительному для него вопросу, который сформулировал в “Записках незаговорщика”: “Понимает ли читатель на Западе степень моей связанности с той жизнью, мою от нее неотделимость? Мою вплетенность в эту ткань, где я был всего одной только ниткой, но ведь и частью ткани?..” Ответом и себе, и окружающим на этот вопрос была в полном смысле слова подвижническая деятельность Эткинда по исследованию, переводу, пропаганде русской классической и современной литературы на Западе.

В канун Рождества 1982 года по Би-би-си прозвучала очередная передача с очередным “парижским письмом” Ефима Григорьевича. Может быть, имеет смысл вспомнить начало этого текста, озаглавленного “Русский Париж”, поскольку в нем возникает один из главных сюжетов жизни и научной работы Е. Г. Эткинда — Пушкин.

“Конец года ознаменовался вспыхнувшим интересом к русской культуре – чуть ли не два последних месяца прошли под знаком России: спектакли, университетские заседания, Неделя русского языка и литературы в середине декабря и даже – даже литературные премии. За восемь лет жизни во Франции мне не приходилось видеть такой концентрации русских тем и героев...

16 декабря во Французской академии состоялась ежегодная публичная сессия с оглашением имен лауреатов. Большую премию романа получил Владимир Волков за роман “Монтаж” — это премия в высшей степени почетная; кстати сказать, недавно она была присуждена другому автору русского происхождения, поэту Алену Боске за автобиографический роман “Русская мать”. Рискаю прослыть нескромным, сообщу, что и я был под знаменитым академическим куполом на набережной Конти не в качестве наблюдателя или гостя, а тоже как лауреат 1982 года; Французская академия присудила свою переводческую премию, носящую имя Ланглуа, руководимой мною группе поэтов-переводчиков, участвовавших в создании первого во Франции собрания произведений Пушкина... Переводчики Пушкина работали совместно более пяти лет, и в конце концов нам удалось сделать то, что французы за полтора столетия не удосужились: выпустить в свет стихотворения, поэмы (в том числе “Евгения Онегина”), сохранив во французском переводе ритмическую и строфическую структуру оригинала и даже рифмы, которые современные переводчики, как правило, игнорируют. Пресса широко обсуждала это издание, статьи в большинстве журналов и газет были весьма благожелательны, и вот увенчалось все это обсуждение премией Ланглуа. Поскольку на сей раз речь идет о “русском Париже”, то я не скрою от наших слушателей, что мы отпраздновали нашу пушкинскую премию в старейшем русском ресторане “Доминик” на rue Вг еа (поблизости от rue Compagne premiere, где в гостинице “Истрия” имел обыкновение жить Маяковский). Хозяин ресторана, покинувший Петроград в двадцатых годах — Лев Адольфович Аронсон, он же месье Доминик, — приходил к нам чокаться тем самым шампанским вином, которое так ценил Пушкин – “Вдова Клико”; многое с тех пор утекло, исчезло или преобразовалось, а “Вдова Клико” та же. Да и Французская академия не изменилась — впрочем, она та же, какая была еще в XVII веке, когда ее основал кардинал Ришелье”.

Итогом эткиндовской пушкинианы стали два тома, вышедшие незадолго до его кончины, — свод научных исследований “Божественный глагол. Пушкин, прочитанный в России и во Франции” и юбилейное издание, приуроченное к 200-летию А. С. Пушкина, “Избранная поэзия в переводах на французский язык”. В этой последней книге, изданной уже в России, снова, как почти два десятилетия назад, собрались под одной обложкой замечательные французские переводчики, объединенные в свое время Эткингом, — Андре Маркович и Клод Эрну, Жан-Луи Бакес и Владимир Берелович, Вардан Чимичкян и Жан-Люк Моро... Об этой книге — отдельный разговор. В одном из давних писем из Парижа Ефим Григорьевич обронил: “Здесь постарались всё забыть; помнят — хотят всё помнить — у нас...” Ныне в эту фразу можно внести определенную коррекцию: и там далеко не все и не всё забыли, и здесь далеко не все и не всё хотят помнить. Жизнь и литературная судьба Ефима Эткинда была в определенном смысле реализацией идеи памяти, хранящей высокие помыслы и откровения от Пушкина до наших дней.